



ЧТЕНИЯ ПО ИСТОРИИ
И ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ

ВЫПУСК 48

Л. М. Баткин

Пьетро Арстини
как религиозный писатель



Российский государственный гуманитарный университет
Институт высших гуманитарных исследований

Л.М. Баткин

**Пьетро Аретино
как религиозный писатель**

Москва 2005

УДК 930.85

ББК 83.3(4)

Б 25

Баткин Л.М. Пьетро Аретино как религиозный писатель. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2005. 38 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 48)

ISBN 5-7281-0829-6

ISBN 5-7281-0829-6

© Баткин Л.М., 2005

**© Российский государственный
гуманитарный университет, 2005**

Я работаю над книгой, в которой хотел бы уяснить смысл и значение сочинений весьма спорного писателя Пьетро Аretино на закате итальянского Возрождения.

Одна из уже законченных глав перед вами. Конечно, в ней далеко не ясна предлагаемая концепция в целом. Но этот раздел самодостаточен и, надеюсь, окажется любопытным для читателей.

1

В 1534 году, т. е. не успев перевести дыхание после порнографических бесед куртизанки Нанны, сданных в печать в *апреле*, Пьетро в один присест сочиняет и в *этом же году* отдает в печать опус о страстях Христовых, расширяя его затем до пространного текста «О человечности Христа» (*De la Umanità di Cristo*)¹. Некоторые исследователи изумляются такой многосторонности. Однако Аretино пробовал силы во всевозможных жанрах, и непристойность некоторых из них ничуть не мешала ему при другом случае пускаться с таким же подъемом в сюжеты возвышенные и умиленные. В числе последних книга о Христе естественно занимает центральное положение и наиболее характерна. Ею и займемся. Я, к сожалению, не смог добраться до «Жизнеописания Девы Марии». Зато мне оказались доступными «Жизни святых», написанные в 1540–1543 годах. В них мы тоже заглянем.

¹ Ниже указания страниц по изданию: *Pietro Aretino. L'umanità di Cristo. Stampato in Italia, s. l. 1945*. Для параллелей я пользовался в интересах русских читателей последним синодальным, хотя и далеко не всегда удачным, переводом Библии.

Требовало бы специального исследования, каким образом и в какой степени Аretино углублялся в Евангелия, что именно и по каким мотивам он извлекал из «Священного предания» и апокрифов или из устной традиции, почему в конкретных эпизодах отдавал предпочтение тому или иному из них. Итальянские переводы Евангелий к тому времени существовали примерно в полутора десятках изданий. Следы необходимого близкого знакомства с первоисточниками, в том числе, конечно, и прямые извлечения из всех четырех синоптических Евангелий, столь же очевидны, как и поразительная свобода, с которой Аretино измышляет все-таки собственный текст, неуемно многословный и превышающий по объему все четыре Евангелия, вместе взятые (более 700 тысяч знаков).

В дальнейшем было бы, повторяю, любопытно проделать трудоемкую работу и разметить сочинение Аretино, выделив в нем все взятые напрокат места, т. е. точные цитаты, затем цитаты приблизительные, наконец, вполне оригинальные куски. Я этим заниматься не собираюсь, оставляя столь кропотливое и точное препарирование будущим исследователям. Для оценки Аretино характерно, например, что в сцене Благовещения Мария расшифровывает именно пурпур, и писатель не замечает символического смысла этого занятия, символика его вообще не занимает. Свечение домов в Иерусалиме Аretино переносит на дома в Назарете, но такова, видимо, его случайная прихоть. Он берет, откуда вздумается, и переносит, куда придется, добавляя и собственные фантазии. Это может быть любопытно для исследователей живой евангелической традиции вплоть до XVI века, когда она иссякает². Что до моих целей, будет достаточно куда более приблизительный обзор, который и без того, зайдет, боюсь, несообразно много места.

2

После напыщенного посвящения императрице (т. е. супруге Карла V) и «Сонета Христу» следуют четыре части беллетристического сочинения, в котором сколько угодно неожиданных выдумок

² Сердечно благодарю И.С. Свенцицкую, которая взяла на себя труд познакомиться с этим разделом в рукописи и высказать авторитетные замечания относительно возможных неканонических источников «Человечности Христа», причудливо использованных Ариосто.

и непрестанных монологов сакральных персонажей – монологов иногда поверхностно высокопарных и наивных, иногда весьма вещественно-конкретных и забавных, показательных для нашего талантливого болтуна.

Поскольку этот род сочинений Аretino труднодоступен даже в Италии, а у нас они никогда не переводились и о них практически ничего не писалось, я считал бы полезным в порядке исключения прибегнуть к наиболее простому средству. А именно: дать, насколько возможно, *непосредственное представление о жанре, стилистике и культурном уровне «Человечности Христа» описательно и в образчиках*, т. е. при помощи довольно пространных пересказов с вкраплениями переводов из Аretino или пассажей, очень близких к оригиналу.

Аretino начинает с двух страниц рассуждений о том, сколь погрязли люди в грехах после изгнания из Рая и о необходимости спасти их, вдруг представившейся Богу-Отцу, который в один прекрасный момент настолько «воспыпал состраданием и любовью, что, весь проникнувшись своим же могуществом, сказал самому себе: “Что же, рожденные и еще не родившиеся должны нести кару за вину первых предков? <...> Чем отличался бы человек от Бога, если бы не грехопадение? О, не я ли создал его по подобию своему? О, разве не обладает он душой, украшенной божественным благородством? Разве ум его не способен уразуметь, каков я в качестве причины всех причин? Не понимает ли он мыслью то, что исходит из моей славы? И, если бы его не было, кто показал бы, как я сотворил тварное? И что я, сам нес сотворенный, всегда был нес сотворенным? <...> Снесу ли я, чтобы Смерть и Ад восторжествовали над теми, кого я некогда избрал быть подобными другим богам? Не бывать этому. Желаю призвать людей в свои чертоги, и угодно мне, чтобы в опасностях погибели они учились заботиться о своем спасении; и мир возрадуется тому, что если одна Женщина была первопричиной Смерти, зато другая Женщина станет первопричиной ее поражения”».

Так, незатейливо и общепонятно рассуждал, по Аretino, Господь Бог. Сразу же заметим, что сочинитель не столько приспособился к народной аудитории, сколько явно сам был плотью от плоти своей публики. Ничего теологического, или мистического, или вообще глубокомысленного придумать или воспроизвести Аretino был решительно не в состоянии. Ибо ничего такого не изучал и

не читал. Он придумывает в какой-то мере собственное Евангелие, выбирая наиболее доступное и увлекательное для себя из Евангелий канонических и апокрифов.

Продолжим чтение. Господь обозревает ряды своих крылатых посланцев и, остановив взгляд на некоем «избранном духе», обращается к Гавриилу с новым – уже вслух – монологом, с «инструкциями» на целую страницу, разъясняя смысл и цель, а также адрес поручаемой миссии.

Сразу видно, что тема непорочного совокупления и зачатия в высшей степени занимает Аretino. Он разворачивает ее на целых тридцать страниц с весьма, если угодно, реалистическими и превзятными подробностями. В отличие от нашего Пушкина, прошедшего выучку у Вольтера, Аretino не позволяет себе никакой игры и двусмысленностей, он вполне, в общем, благочестив и благочинен, но, будучи выдающимся знатоком означенной темы на уровне отнюдь не божественном, старается обосновать евангельскую версию всеми возможными психологическими и, так сказать, техническими пояснениями.

Взысканный Господом, Гавриил выслушивает из божьих уст подробные предварительные наставления (*istruzioni*). В частности: «Я научу тебя, что среди селений Финикии и близ Иордана, который вскоре послужит для краткого омовения моего сына, находится область Иудеи, которая, благодаря алтарям и жертвоприношениям, заслужила, чтобы именно здесь стало ведомо его имя. И я расскажу тебе, в какой именно части этого царства проживает Дева, к которой ты обратишь свой привет и мое слово, божественность коего, смешавшись с первозданной человечностью, преобразится в Спасителя людей. Но, рассмотрев землю, ты и безо всяких иных наставлений сам увидишь, в каком месте она обитает по свечению над ее головой, на манер диадемы».

После сказанного Господом среди ангельского воинства в Раю начинается невероятное и шумное ликование. «Впрочем, среди части Ангелов могла бы зародиться зависть, так это вскоре и случилось», поскольку кое-кто хотел бы, чтобы почетная миссия Гавриила выпала на него. Выдумка вполне соответствует натуре Ариосто и превращает, как и другие его ходы, мир загадочно-сакрального в мир мирских интриг и мотивов. Завистливый «ропот» ангельского населения разгневал небеса, разразились неслыханные вспышки молний, раздался рокот громов. Аretino посвящает страницу опи-

санию сего космического катаклизма, и божьему посланцу приходится при помощи группы серафимов пробиваться через открывшуюся, благодаря их стараниям, полосу чистого и голубого пространства, чтобы покинуть Рай и опуститься сперва на горе Синай. Затем он перелетает к Назарету и, перемахнув его стены, оказывается перед домом Девы, светившимся на солнце «сверх меры» (р. 14–15). Гавриил складывает крылья, снимает с лика своего огненную завесу, чует уже нектарное благовоние «девичьего цвета» и вот, «желая взойти в святое жилище, он, не касаясь земли, в легком полете, как и надлежит ангелам», предстает перед Марией.

На описание этого перемещения Ариосто щедро отводит две страницы. Он никуда не торопится, тем более впредь, неизменно услаждаясь своим красноречием.

«При его прибытии Дева прервала занятие, в которое была погружена, расшивая золотым шитьем по пурпуру одежду для служителей, между тем как ум ее был поглощен тайными смыслами пророчеств, и она сияла своей чудесной красотой, удивительно божественной. Нужно думать, что, поскольку Бог сделал ее более выдающейся по добродетели, более достойной славы, более чистой в помышлениях, с более нежным сердцем и более телесно чистой, чем любая другая, то он должен был придать также больше грациозности и легкости, чем любой персоне ее возраста. Полет Гавриила навел дуновение на косынку, покрывавшую ее волосы, которые совершенно безыскусно были уложены на голове». Ну, и так далее, Пьетро описывает ее открытый лоб, спокойствие и значительность взгляда из-под ресниц, скромные движения, щеки и пр. – не было никогда никого, кто посмотрел бы на нее «мужским взглядом» (р. 16).

И далее об ее девичьих добродетелях и благочестии, переводя все в, так сказать, простой бытовой план. Мария не ведала отдыха, «потому что никогда не теряла ни минуты зря, то она молилась, то хлопотала по Храму», то ходила за немощными. «Она любила молчать, и те немногие слова, которые она произносила, были столь сладостны, что доставляли блаженство другим.» Ариосто явно пытается при помощи подобной перечислительной и незатейливой риторики подготовить, а затем воспроизвести словесно схему бесчисленных ренессансных живописных «Благовещений».

Дева, смущаясь и зардевшись, как изображают пастушку, собирающую цветы для венка, выслушивает обращение Ангела. «Будь

благословенна, о звезда, спустившаяся на землю с небес. Господь нисходит, чтобы пребыть с тобой, и Он непосредственно оросит твое лоно всей своей благодатью <...> излив ее в чистую твою душу и чистое тело. Будь же благословенна и блаженна пуще всех благословенных и блаженных».

«И Она, услышав это великое приветствие, взволновалась, будучи девушкой простой, ведь случается так, что некто, оказывая честь, может притом сделать стыдное с ее честью; и думая о произнесенном слове, она зарделась, подобно лепесткам розы, раскрывающимся на рассвете при восходе солнца. А он, видя охватившее ее смятение, сказал: “Успокойся, Дева, потому что Отец, который движет небеса, заслуженно послал меня к тебе из небесного дворца и велел мне сказать тебе, что ты родишь прибдище человечьих надежд и что перед твоими родами склонится огромный мир....” На что она, услышав, испытывает сомнения относительно себя, не иначе, чем те, кто сомневается, слыша вещи новые и невозможные, и не дает веры заманчивым хвалам и великим надеждам. И потому она отвечает: “Как может это произойти, если я не познаю мужчину?” А он ей: “Святой Дух войдет в тебя так, как солнечные лучи, от которых беременеет земной гумус, и добродетель его наполнит твое лоно. Так что тот, кого ты родишь, будет Богом богов и Святейшим среди святых”». Гавриил напоминает, как понесла некогда Елизавета, хотя и была уже бесплодной из-за преклонного возраста – «так желает тот, кто может свершить это». Мария в ответ воздевает взоры к золоченым крышам, складывает руки на груди и выражает благочестивую готовность повиноваться. Она дозволяет Гавриилу «“по воле Всевышнего перенести эту волю в меня, и пусть не чрево и грудь, но сердце и душа готовы принять тебя; потому что, если солнце проходит сквозь стекло, не проходя через него, то я вполне могу поверить, что ты войдешь в меня и выйдешь, не за пятнав моей девственности”». Она не сказала более ничего, и признала его, и преклонилась перед его одеянием, и сиянием, и оперением...», и дом озарился блеском бессмертного огня.

3

«Но чрево ее (удивительно это выговорить, но не удивительно поверить, потому что для того, кто может все, ничего не стоит сделать возможным невозможное) – чрево оказалось заполнено всем

тем, что сверкало. Так что Святой Дух, соответствуя себе же, словно голубка в своем гнезде, воспринял все человеческое; и невидимое слово, оживленное небесной силой, и божественной благодатью, и бессмертной мощью, выросло в ней, не нарушив ее невинности никаким насилием, и изливаясь из себя по всем членам ее, потихоньку изведало их, коснулось легонько всех чувств, распространяясь в костях и заполнило тайные пути, и поражалось себе же, пока взыскивало их все своей благодатью, находило места для своих чистых, нежных, сладких, святых и священных услад. Так природа, прибегая к себе же, захваченная силой, благостью и мощью Неба, покоряясь своему Богу, испытала неиспытанное, как тот, кто, страшась, молчит. И она страшилась и молчала. Но в страхе и молчании познала божественные качества как человеческие. Тем временем возвышенная Птица простерла крылья, привела их плечами в движение и заставила их прийти в совместный трепет. А затем взмыла в воздух, и постепенно поднимаясь к небу, стала удаляться от земли и становилась еле видимой. Дева же просила верного Посланца засвидетельствовать Господу ее покорность и молвила, что ее роды будут свидетельствовать об ее непорочности».

Приходится, прервав эти выписки, признать, что Аretino сделал все, что было возможно при помощи двусмысленной риторики, чтобы совместить благочестие и туманные эротические подробности, просвечивающие сквозь красоты незамысловатого слова. Не оскорбляя Евангелия, Пьетро каким-то образом ухитрился одновременно остаться внимательным читателем «Декамерона».

Далее автор неспешно живописует громы и молнии, и ангельские хоры при рождении Христа, и волнение задрожавшего Иосифа, и вот Иисус, как только появился на свет, «открыл глаза и посмотрел на мать, которая пала перед ним на колени». И вол, и осел признали в нем сына Божьего. Иосиф, наблюдавший чудесные роды, лишился чувств, но затем, воспрянув, произнес очередной монолог под аккомпанемент ангельских песнопений.

Очевидно, автор умело воспользовался и в этом случае удобными для него апокрифическими версиями или какими-то устными традициями. Об этом иногда можно судить впрямую, а иногда приходится лишь гадать. В целом же Пьетро сочинил нечто по своему вкусу. Длинную череду слегка театрализованных сцен, риторических речей и фантастических фабульных выдумок. Приходится,

часто невольно улыбаясь, отдать должное свободе его беллетристических пассажей. Вплоть до того, что в Армении в этот момент во-круг Ноева ковчега расцветают цветы, и пр. Притом, однако же, от этих красот очевидным образом веет штампами и не остается ничего от скромной загадочности и мистической напряженности евангельских текстов. Чем больше Аретино предается пышной и отчасти слегка антиклизированной нескончаемой декламации, тем меньше в его сочинении истинного благочестия и просто хорошего вкуса.

Наконец, дело доходит до появления звезды и вслед ей экзотических восточных Магов и до описания их шествия со слугами, на лошадях и верблюдах, с драгоценными дарами. Аретино опять-таки определенно ориентируется на соответствующие ренессансные живописные изображения «Шествия волхвов». Но автор ничем не скован и тут же набрасывает сцену разговора Ирода с представшими перед ним чернокожими царями. «Чего вы взыскиваете? По какой причине из столь далеких краев пришли в наше царство? Нуждаетесь ли в помощи? Или, собравшись в другие места, заблудились?» «Благородный синьор, – отвечал старейший из магов, – мы прибыли из своих царств в твои владения не за помощью и не по какой-то ошибке, но чтобы узнать, где родился Царь иудеев и сын Божий», и т. д.

4

Чем дальше Аретино разворачивает текст, тем ясней, что его название – «Человечность Христа» – не имеет какого-то богословского догматического значения, а попросту делает заявку на превращение Откровения в мирскую завлекательную повесть. Впрочем, добравшись до Страстей Христовых, мы увидим, что Аретино действительно захвачен драматизмом и нестерпимым ужасом страданий богочеловека, непонятного и одинокого даже среди учеников и последователей. Под занавес эта амплификация Евангелий, как мы увидим, приобретет определенную искусность и высоту.

Тем временем далее описаны страхи Ирода, потом подношение «святыми Эфиопами» (?) даров и дан на страницу очередной их монолог, обращенный к Христу на трех языках, обратившихся в единый хоровой язык. Младенец взирает на Магов благосклонно и выражает это мановением ресниц; а они созерцают Деву, которая прижимает Сына к груди, и сидящего рядом Иосифа, обхватив-

шего руками колени. Причем, по Аретино, не предпочтитающему однушу из евангельских версий, но соединяющему их и дополняющему от себя, оказывается, первыми почтили рождение Христа простые пастухи, а затем уж эти восточные волхвы, шедшие за звездой, или же высокородные Цари с многочисленной свитой – и, избегая Ирода, вернулись «другой дорогой» (тут слово в слово по Матфею).

Ни в каком Писании Аретино не мог найти свои бесконечные подробности, включающие и то, что Дева, равно и Иосиф, не вкушали в гроте ничего, кроме манны Благодати, исходившей от лика ее сына, а когда Мадонна очистилась от родов, она вложила принесенные дары в руки Христа, и все вместе они направились в храм. Загремел гром, здание задрожало. Тогда Анна, дочь Самуила из колена Асирова, 84-х лет, служившая во храме (это точно по Луке), «была осенена, словно Сивилла, высшим духом и, совершая странные движения, преисполнившись пророческим неистовством, воскликнула: “Господь, се – Господь”» (а вот этого в Новом завете нет и в помине). Следует чересчур подробное описание Симеона, его одеяний и жестов, и он в свой черед *четырежды* (а не дважды, как у Луки) произносит монолог за монологом (р. 46–48). Дары волхвов передают в Назарет. После чего автор рассказывает об избиении по приказу Ирода «бесчисленных мальчиков», о верном служении Иосифа, о бегстве в Египет на ослихи, «и кто увидел бы, с какой осторожностью шагал ослик, подумал бы, что тот был разумным животным (*animale razionale*)». Ослик «выказывал радость, оттого что нес на себе святую поклажу», Иосиф же неутомимо вышагивал впереди.

Повышенная визуальность и предметность описания заставляет вспомнить не Писание, а опять-таки ренессансные живописные трактовки «Бегства в Египет» (р. 49–50). Притом Аретино вновь не упускает развлечь читателей удивительными и трогательными, наивными и довлеющими себе деталями, которые затягивают и, увы, мельчат рассказ. Путешественники не ведали дороги, но их чудесно вела Божья воля. Наступает ночь, и они укрываются в пещере, полной шипящих змей-драконов с огненными глазами, их крылья вздымались, дыхание было ядовитым, и они выглядели ужасными и свирепыми. Но при виде Христа исчезали их огонь и наводящая страх надменность, они становились смиренными и, опуская к земле рогатые головы, почитали его. Утром трое вновь пускались в путь, и их приветствовали птицы, перед ними склонялись деревья, им по-

клонялись животные. Они прибывают туда, где пальма тянется к небу, а на ее ветвях множество ангелов, которые, пригибая ветви к земле, предлагают плоды Христу, «а затем, – дотошно уточняет Аретино, – ветви распрымлялись, возвращаясь в прежнее положение». Далее происходит встреча на пустынной тропе в страшной чаще со львом (заимствование из апокрифов Павла и Даниила): «и вот лев, горделивый в своей природной стати (*nella sua real natura*)». Этот апокрифический лев у Аретино, конечно же, дает повод для очередного многословного описания: густая грива, покрывающая шею, горло и грудь, и пр. «Увидев своего царя», лев не стал неистово бить хвостом о землю или по телу, «как это делают львы, начиная гневаться, но свесил хвост, как это бывает, когда они успокаиваются, и опустился передними лапами на колени, казалось, говоря: “я обожаю тебя, мой Господь”».

Итак, продолжая следить за текстом, мы вновь и вновь убеждаемся, что Пьетро превращает все в занимательную повесть, сказочную и вместе с тем с деталями, которые должны придать чуду бытовую достоверность или растрогать, вплоть до реплики льва. Бесспорны ренессансные или, если угодно, маньеристические свобода и выдумка в обращении Пьетро с материалом. Но сюжет неизбежно становится поверхностно-водянистым, нестройным – ср. с великими ренессансными живописными «Благовещениями» – и теряется мистическая высокость, разбавленная болтовней.

Тroe прибывают «после других чудес» в Ниневию и подходят к языческому храму, «и послышался шум, подобный тому, что производит стрела, когда она, яростно пересекая пространство, попадает в статуи [идолов], расположенные на кровле зданий. Вослед за громом и шумом – испуганные вопли, ужасные голоса...». Их испускают «демоны», которые сидят в идолах и которых содрогнуло присутствие Христа – «и так подтвердилась истинность слов Иеронима, Божьего секретаря, который сказал, что симулякры рухнут после родов Девы. Величайший страх охватил сердца всего города из-за крушения их божеств <...> и криков демонов. Казалось, что египетские Боги, расколотые на тысячи кусков, валявшихся повсюду на полу, и множество статуй, поврежденных временем, <...> у которых отвалились то голова, тот ноги целиком, у какой-то ниже колена, а у другой бюст, были все они растерзаны, и не сохранилось целых (мотив заимствован из апокрифа «Евангелие детства». – Л.Б.). В то время как Христос в благодати своей и Бог-

Отец стали известны всему Египту, им поражались, и славили их те, кто почитал его как сына Божьего, а не демона, не призрака или мага, как утверждали некоторые, – в то же время Ирод, воплощение жестокости...» – и далее на добром десятке страниц (р. 51–60) Аретино с долженствующими леденить кровь подробностями и риторическими фигурами разворачивает эпизод с избиением младенцев...

Надеюсь, уже достаточно ясно, каковы характер и уровень крупнейшего из сочинений Аретино. Притом мы преодолели только первую его четверть, и чтобы не растягивать изложение и не утомлять читателя, надо бы постараться дальнейший обзор сделать более скучным и схематическим.

По призыву Ангела Христос с Девой и Иосифом возвращаются в Иудею – под плач птиц и к полному отчаянию несчастных египтян, поверивших в то, что он Мессия, и теперь оказавшихся во мраке. Последующие 12 страниц живописуют божественные качества Христа, стеченье к нему жителей окрестных стран. Одни уверовали в него, другие злобствуют. Его поучения во Храме Давида и Соломона, который превосходил все семь чудес света. Плач Марии при виде того, как ее сын принадлежит теперь большому миру и покидает ее. Христос в ответном монологе утешает и осушает ее слезы. (Не очень-то он утешает мать, он божественно суров и скучно напоминает ей, что он Мессия, в отнюдь не сентиментальной Библии.) Он возвращается в Вифлеем и начинает «постоянно творить чудеса». Например, по слову Христа, змея, заползшая в чрево пастуха через рот, когда он спал, выползает прочь. «И тысяча других великих чудес».

5

Первая книга «Человечности Христа» заканчивается – сразу после придуманной сцены со змеей – прелюбопытным рассуждением писателя Аретино относительно евангелистов. «Я не смею, однако, писать о том, что не описано Евангелистами (!), может быть, потому, что Богу не угодно было, чтобы они это описали, ибо мир недостоин был узнать слишком многое из того, что о нем известно. И следовало ограничиться лишь некоторыми из поразительных чудес, которые он творил. Возможно, кто-то удивится, что Христос не избрал писателей, которые соответствовали бы по своим

заслугам его деяниям. Но глупо думать, что Христос согласился бы, чтобы об его истине и смирении повествовали бы ложные и надменные историки. Что же, разве стиль, краски и искусство должны были возвышать его так, как возвышают земных государей, которых чужой талант делает такими, какими они вовсе не были? Сколько важных сентенций, сколько мудреных слов или сколько благих советов можно прочесть в томах, которые содержат воспоминания об [известных] людях, – но такого никогда не выйдет из под пера тех, чье имя сделали громким и обессмертили страстные страницы, посвященные щедрости, подлинно излившейся свыше. Простота и чистота Христа побудили его избрать чистых и простых писателей, которые обрисовали его поистине просто и чисто <...>. Таков был склад их умов и такова жажда их сердец. И блаженны те, кто живет в прирожденной чистоте и простоте; веруя, они довольствуются истинной верой, которая идет от души с не-привычной усладой».

Тут весь Аretino. Расточив уже в изобилии то, чего нет в сакральных источниках, он вдруг демонстративно объявляет, что «не смеет рассказывать о Христе то, чего нет у евангелистов; потому что, может быть, Господу было не угодно, чтобы они об этом написали; ибо для недостойного мира не все известное о нем нужно знать. Это было бы лишним, должно было ограничиться сообщениями лишь о некоторых из содеянных им чудес (*io non ardisco scrivere quello, che non hanno scritto gli Evangelisti. Forse perchè a Dio non piacque chè essi ne scrivessero; chè al mondo indegno fu troppo il sapere di lui quello che ne sa; e doveva bastarci uno de i miracoli stupendi che gli fece*)».

Он-то постоянно говорит как раз «лишнее», то черпая из апокрифов, то просто фантазируя. Впрочем, он возглашает неуместность «лишнего» так самозабвенно и не задумываясь, будто впрямь не помнит, сколько только что уже успел навыдумывать (и гораздо больше присочинит впредь). Кроме того, получается, будто он знает о Христе и то, чего был недостоин узнать мир от евангелистов? Тогда откуда ему-то все рассказанное стало ведомо? Далее Аretino весьма снисходительно отзыается о простоте стиля евангелистов. Но тут же объясняет, что на них пал выбор Христа для передачи Откровения, именно благодаря их литературной незатейливости (над которой, кстати, когда-то размышляли ранние гуманисты, чья цицероновская латынь была совершенней уровня Вульгаты).

Стало быть, Господь не хотел излишнего красноречия. Однако сам Аretино разве не предается на вольгаре душепитательным риторическим восхвалениям скромного Господа? При перегруженном синтаксисе, переборе общих мест и изъянах композиции.

Пьетро изобретательно петляет, одновременно давая, в сущности кощунственно, понять свое писательское превосходство над евангелистами и величие своего искусства, а вместе с тем оправдывая волей божьей безыскусность и неполноту евангелистов. Далее изобличает тех, кто бесстыдно и с ложным красноречием кадил земным царям. Хотя именно Пьетро то и дело бывал в этом грешен. Но намекает, что его-то страницы «бессмертны», ибо бывают сочинители, которые расхваливают лишь тех государей, кто был подлинно велик и щедр, по благодати свыше. И тут же вновь одобряет чистоту и простоту биографов Христа вслед самому Господу и его вкусу. А в сущности, поскольку Аretино объявил о своем желании такого же смиренного самоограничения, – это предполагает, наряду с превеликой сочинительской искусством, и его, Аretино, евангельскую простоту?

Распутать сии хитросплетения нечего и пытаться. Концы с концами у Аretино не сходятся, но Пьетро великолепно уверен в себе. В общем, он впрямь тоже прост и даже, если угодно, несопоставимо проще загадочных и разящих проповедей и притч Христа, монщи и величавой суггестивности Евангелий. Аretино прост иначе, ибо при очевидной избыточности изложения ориентируется не на прозелитов, а на популярность у широкого, мы бы сказали «демократического», круга набожных читателей.

Однако же. Для рассуждений и самооправданий Аretино располагал прекрасной возможностью зацепиться за последний стих Евангелия от Иоанна (21: 25). Несомненно, он хорошо помнил и имел в виду как раз нижеследующее, хотя ссылки, как всегда, не сделал. «Многое и другое сотворил Иисус: но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь».

Аretино почти цитирует сей стих, но снисходительно предоставляет подобную осмотрительность евангелистам. Сам он и не думает ей следовать.

Вторая книга начинается с, как всегда, подробного описания облика, одежды и образа жизни Иоанна Крестителя (р. 74). В Новом Завете об этом упомянуто очень кратко. Пьетро, кажется, мгновенно забыл только что высказанный самозапрет на выход за пределы Писания. Ведь он должен был продолжать делать то, что было бы в духе избранного им народного занимательного жанра. Поэтому до и после двусмысленно-снисходительной похвалы немудрящим евангелистам он строит свой опус или, в лучшем случае, на непомерных амплификациях Нового завета, или на вовсе придуманных эпизодах.

Таково и следующее далее описание крещения Иисуса в Иордане – в виде обстоятельной жанровой сцены, взывающей, как обычно у Тициана, к живописному изображению, впрочем, с обычными для Аretino многочисленными речами, в том числе к разговору прямо между Иоанном и Христом, куда более многословному, чем у Матфея (р. 75–77). И вот всё и вся – включая взнужденных и запряженных горячих коней, замерло «в ожидании чудес, кои должны были вскоре произойти» после последней внушительной реплики Христа своему Крестителю, вдруг затрепетавшему и смущенному миссией, возложенной Господом на него, недостойного смертного, «погрязшего в грязи мира сего».

И чудеса не замедлили произойти. С небесными катаклизмами, с остановкой солнца над повозкой (сагго – как известно, непременная праздничная деталь возрожденческих празднеств) – с прекращением бега облаков, с появлением четырех ангелов в красочных искрящихся одеяниях, с рефлексами закатного солнца, и т. д., и т. п. Люди из свит, сопровождавших их обоих, тоже бросились в реку креститься, как и сказано в Новом Завете. Но Аretino, конечно, не может тем и ограничиться. Сочно зазеленели и расцвели берега Иордана, распустились водяные лилии и – разве не трогательная лубочная выдумка? – «рыбы, сновавшие меж святыми ногами <...>, радовались, любуясь ими» (р. 76). Происходит обоюдное крещение. Появляется Святой Дух в образе голубя в диадеме, и писатель на двух страницах не жалеет красочных подробностей об облике голубя. Что же до воды Иордана, то «можно было позавидовать, что она остается в этой реке». Помянут по поводу святого блаженства при сем людей и природы – для сравнения в духе времени –

«Эрот, нареченный блаженным, после того как он услышал песни Аполлона» (!). «Все смолкло. Молчала вода, онемел ветер», и т. д. Пока не запел Голубь: «Се мой возлюбленный сын, и его доброта мне любезна» (ср.: Мк 1: 11 – тут у Аретино точная цитата). Но по его воле – в ответ снова возвышает голос Креститель...

Что-то я никак не могу выполнить свое благое намерение, словно покорно следя за излишествами Аретино. Хотя и решил по необходимости укоротить затянувшийся пересказ (тем более, мы добрались лишь до второй трети текста, и все главное вроде еще впереди)...

Но как нам отнестись ко всему этому? Восхититься некой – ренессансной? – игровой раскованностью и изобретательностью рассказчика, излагающего, хотя и сверяясь порой с Откровением, – притом, по-видимому, легко, без помарок и переделок – все, что ему сиюминутно придет в голову и тут же возникает на кончике языка? Поддаться, как и его тогдашние читатели, забавному очарованию сказочного текста, кое в чем ренессансного по стилю и мотивам? Или все же призадуматься – как и в отношении поделок Пьетро в любых иных жанрах – над измельчанием и опустошением сюжета, над неудержимостью слишком поверхностного глаголания, не обеспеченного серьезной культурной или сакральной задачей?

В самом деле. Посреди последней страницы о крещении, без какой-либо паузы и графического перехода к следующему разделу (так, впрочем, и у Марка, 1: 12), Аретино принимается за трагический эпизод с сорокадневным удалением Христа в пустыню и с искушениями дьявола. Тут ему пригодился не Марк, легко и мгновенно проскакивающий это, а, конечно, Матфей (ср. Мф 4: 11 и сл.) и Лука (Лк 4: 13 и сл.). Но какие-либо трагизм и многозначительность, как обычно у Аретино, выветриваются. Сатана, как мы помним, берет Богочеловека «на весьма высокую гору и, в частности, показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: “все это дам Тебе, если падши поклонишься мне”». У Луки и Матфея нечто в сходных выражениях.

Как же поступает наш Пьетро (р. 80–82)? О, неожиданно и потрясающе! Он, воспользовавшись поводом, с удовольствием *перечисляет поименно все известные ему тогдашние царства и края*, демонстрируя пределы тогдашних geopolитических познаний и хвастая своей приблизительной и показной эрудицией.

Всего упомянуто... **108 наименований!**

Подобный, хотя, как помнится, куда более скромный количественно, перечень христианских стран и итальянских городов известен, скажем, у Данте в «Комедии». Однако ведь там он дан в осмысленном, страстном моралистическом и художественном контексте вселенской инвективы о всемирном повреждении нравов. А у нашего Пьетро этот грандиозный список вдруг появляется *просто так...* для орнамента. Уж такова его квазиренессансная элеквенция. К идее *varietà* никакого отношения этот перечень, разумеется, не имеет.

Посрамленный Сатана удалился «в царство Плутона», и верный себе Пьетро не удерживается от основательного описания, как тот при сем выглядел, и пр. Далее он передает по своему вкусу, то приближаясь к тексту Нового Завета, то на свой лад отходя от него при изложении поучений и притч Христа (весьма скромом и бедном сравнительно с Заветом), а также сотворенных им чудес (это подробней). В некоторых случаях повествователь, по своему обыкновению, прибегает к форме диалога, например, между Христом и падшей женщиной (р. 110–111) или Христом и самаритянкой³ у колодца, когда Иисус просит у нее испить воды (р. 111–113).

Как известно, евангелисты тоже любили воспроизводить разговоры Христа с самыми разными слушателями, и речи Христовы составляют едва ли не основной текст их творений. Но таким образом они вводили непосредственное Откровение, т. е. не только жизнь Иисуса, но *учение Христово*. Это ведь и было их *главным смысловым заданием*. Аretино же интересуется в подавляющей степени именно бытописанием и наиболее выгодными для сочинителя фабульными или живописными деталями оного.

Диалог с самаритянкой взят довольно точно по Иоанну (4: 6–29), случай для Пьетро не частый (причем у евангелиста семь реплик произносит самаритянка и шесть Иисус, а у Аretино реплик даже несколько меньше, всего десять). Это очень, если позволительно так выразиться, человеческий и даже бытовой разговор, поэтому Аretино охотно его включает в свой текст. Впрочем, он преспокойно опускает самые важные, поучительные слова из этого обмена речами, а именно «Бог *есть* дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Для Пьетро это, пожалуй, чрезсчур уж метафизично и отвлечено.

³ В синодальном переводе значится «самарянка», но я предпочитаю другую форму, более традиционную.

Зато щедрая фантазия нашего женолюба позволяет Аretино, как всегда, охотно повествовать об облике, одеянии, возрасте и женском очаровании персонажа, охарактеризованного Иоанном просто как «самаритянка» и «женщина». Христос по ходу разговора молвит, что она имела пятерых мужей, а теперь живет с мужчиной вне брака, и этим знанием о дотоле неизвестной ему и случайно встреченной у колодца поражает женщину и побуждает предположить, что перед нею пророк и Мессия. Аretино, притом воодушевленно, расширяет и по собственной канве: «Появилась некая самаритянка, возраст которой начинал медленно, но все более быстрыми шагами, сходить с высоких ступеней молодости. Но она была [еще] вся полна жизни и вся одушевлена, ее украшали благородные манеры, она глядела и говорила с грациозным достоинством. Она была облачена в многоцветное одеяние. Ее волосы были прибраны под алоей тафтой, причудливо перехваченной. Опоясанная золоченой повязкой, она обнажала только ступни и ноги до колен в меру дозволенного. Одной рукой она поддерживала сосуд, другой приподнимала полу одежды (р. 111–112)».

Повторяю, у Иоанна обо всем этом ни слова, да ничего подобного у него и быть не могло. Аretино же обычно не упускает описывать облик и одежду персонажей, особенно женских.

Поскольку Евангелия устроены по-разному и повествуют, как всем известно, поразительно несходно, так что Марк, например, в отличие от Матфея и Луки, опускает и непорочное зачатие, и рождение Христа, и бегство в Египет (то же у Иоанна), а самую насыщенную проповедь Христос у него речет собравшимся «у моря», а не с горы, – это дает Аretино некую свободу отбора. Плюс свободно перемещаемые апокрифические детали и собственные авторские фантазии. Он не помышляет как можно полней соединить информацию всех канонических Евангелий, все их эпизоды, создать или хотя бы использовать известный средневековый компендиум. Хотя объем сочинения Аretино как раз позволял многое. Но неизменно показательно, чем он этот объем наполнял.

Что до сугубо писательских домыслов и красот, то по отношению к *такому* сюжету они сомнительны, во всяком случае для XVI века. Однако вот что позволительно вольно предположить. Может быть, когда Пьетро замечал, что о Христе известно больше, чем поведали евангелисты (см. выше), он отчасти имел в виду именно то, что в каждом Евангелии есть много такого, чего совер-

шенно нет в других, даже при частичном наличии параллельных мест. Каждый евангелист поведал лишь о некоторых чудесах, а не обо всех, присутствующих в полном новозаветном корпусе. А ведь Аретино знал также и о существовании апокрифических преданий и домыслов. Иначе приведенные мной его слова звучали бы странно и глуповато.

Итак, Аретино имел право на отбор.

Но случайно ли он перенес в другой момент повествования и заметно укоротил, преобразил и разбавил Нагорную проповедь (р. 133–135)?

Видимо, чересчур уж она серьезна, напряжена и многосмысленна для бойкого венецианского сочинителя. Зато «Отче наш» разбух раз в семь и стал дидактической рацеей скорее, чем молитвой.

Для Аретино, как уже было отмечено, прежде всего важны эффектные ситуации и поводы для беллетристического живописания, довольно неожиданные. Вот фарисеи приводят к Христу подробно описанную Аретино «дрожащую женщину» «с глазами, полными слез и с лицом, подобным солнцу, затянутому облаками, с подбородком, склоненным к груди». У Иоанна (8: 3–11) этого, конечно, нет. Христу говорят, что эта женщина «преступила святость брака и осквернила чистоту брачной постели. Так что суди ее по заповеди Моисеевой». По Иоанну, Иисус сначала ничего не отвечал, но, «наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания». Аретино полагает, что Господь начертал не что иное, как известные слова «Кто из вас без греха», и т. д. Согласно евангелисту, фарисеи продолжали спрашивать, тогда-то Христос и произнес эти слова. По Аретино, собравшиеся зашумели и не могли понять написанное, тогда Христос повторил примерно то же самое вслух. Все смущены и удаляются. Христос же, оставшись наедине с обвиненной в супружеской измене женщиной, спрашивает (как и по Иоанну): «Кто свидетели твоего прегрешения?». «Их нет», отвечает она. «Тогда, ежели никто тебя не обвиняет, и я тебя не осужу. Итак, ступай. И если ты хочешь, чтобы я тебя оберегал, как оберег сегодня, оберегайся сама от греха». Та возвращается в свой дом прилюдно оправданной (р. 110–111). На сей раз Аретино близок к тексту Завета, хотя пересказывает его более многословно и риторично (взамен краткого и простого: «Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши»).

Мне придется пожертвовать в затянувшемся изложении красочными приключениями при плавании Христа в бурю на барке с испугавшимися апостолами и многим, многим другим. Но никак не возможно опустить обширную вставную новеллу о Марии Магдалине. Еще бы! уж такого персонажа Пьетро не мог упустить.

И более того. Аретино, не исключено притом, что следуя одной из давних средневековых устных путаниц (мне, признаюсь, решительно непонятной), но, во всяком случае, весьма удачно для общего стиля и характера своего сочинения смешивает Марию Магдалину с Марией из Вифании, т. е. сестрой Марфы и воскрешенного Лазаря. По Иоанну (12: 3) Мария из Вифании помазала ноги Христа, а по Луке (10: 39–42), напротив, «избрала благую часть», ограничившись тем, что внимала его поучениям.

Надо кое-что напомнить. Известно, что историю с воскрешением Лазаря из Вифании описывает Иоанн, но в ней нет никакой Магдалины, а есть сестры Лазаря Марфа и Мария из Вифании. У Иоанна же мы находим – об этом уже заходила речь – эпизод о том, как фарисеи привели к проповедующему Христу «женщину, взятую в прелюбодеянии». Однако имя блудницы не названо, и мы имеем право на полную уверенность, что то была никак не Мария Магдалина. Имя последней – без всякого пояснения, кто она такая, – впервые появляется у Иоанна, когда та приходит после похоронения Христа к его захоронению «и видит, что камень отвален от гроба» (20: 1). То есть именно она узнает и сообщает ученикам Христа об исчезновении тела. А затем ей, и тоже первой, является Господь и велит возвестить о своем воскрешении (20: 14–18).

Иначе у Луки. У него единственного Магдалина – женщина, из которой Христос, шествуя по Галилее, изгнал семерых бесов (8: 2). И это все, что в одном стихе предварительно сказано о Марии Магдалине вплоть до заключительного упоминания, что она опять-таки предстояла перед гробом Спасителя вместе с «Марией, матерью Иакова» (ср: Мф 27: 61 – «вместе с другой Мариею»). Что до сестры Марфы, Марии, то это совсем другая история, о которой поведал только Лука.

Также и по Марку (15: 40–41 и 47; 16: 9–10), Мария Магдалина и Мария Иаковleva, и Саломия были среди следовавших Христу и служивших ему в Галилее. Они же издали смотрели, как он испус-

тил дух на кресте и как его полагали во гроб. По прошествии субботы они купили ароматы, чтобы идти помазать Спасителя, и ужаснулись, не обнаружив никого в гробу. Они убежали и в страхе людям о сем не сказали. А семерых бесов Христос, и по Марку, изгнал из Марии Магдалины, но упомянуто об этом в связи с понедельником по воскрешении, когда он первым делом явился к ней. И, опять-таки, именно она возвестила о чудесном воскрешении всем остальным.

У Матфея же вовсе нет ни Лазаря, ни его сестер Марфы и Марии. Зато согласно и его повествованию, Мария Магдалина вместе с «другой Марией», матерью Иакова, смотрят издали на распятие. Потом они хотят поклониться гробу, но не находят в нем Христа и «приходят в трепет». А далее по слову Ангела, затем и прямо по воле явившегося им обеим воскресшего Иисуса, возвещают всем о Чуде.

Итак, Аretино, то ли пойдя за какой-то неведомой нам, но выгодной для его сочинения устной версией, то ли просто запутавшись, превратил «синьору из Магдалы» в сестру Марфы и одного из важнейших персонажей всего текста. Прежде всего это позволило включить ее в длинный рассказ о подготовке Марии и Марфы к встрече с Христом.

Тут-то наш сочинитель принимается роскошествовать. Он с упоением повествует о Магдалине на целых *14-ти страницах* (115–129)!

Перед нами словно возникает одна из столь превосходно знакомых Аretино прекрасных куртизанок (римских либо венецианских). Сперва автор, впрочем, считает нужным рассказать о сестре ее Марфе, «женщине, которая была старше Магдалины и, не возвышаясь до великого, зато и не опускалась до ничтожного. И хотя возраст уже начал тяготить ее как груз, который опускает плечи и разрушает жизнь, она не показывала свои годы. Источником сердечной радости было для нее то, что она обрела Иисуса. Ее покрывала дешевая одежда, простая по цвету, и ее голову украшала нацидка из грубого и плохо обработанного льна. <...> Ей приходилось жить вне дома, ибо она все отдавала на потребу ближнему. Говорила тихим, но проникновенным голосом. Ходила за больными, помогала узникам, и все, что угодно Господу, было ей в утешение».

Перед приходом Христа Марфа долго и красноречивоувещивает свою грешную сестру. Аretино не жалеет полутора страниц,

чтобы пересказать ее монологи. «Как это может быть, чтобы ты не понимала, какова разница между дарами небесными и дарами земными? Суетны твои помышления, суетны и твои дела. Но перемени их, сестра: сестра, сделай это; и будут поступки твои полезными. <...> Я не хочу, чтобы ты покаялась, раз уж такое не по тебе; но, если уж ты не желаешь опоясать себя власяницей, сделай, по крайней мере, свою жизнь благой, а не дурной. И раз уж ты не способна победить соблазны распутства, по крайней мере отвергни искушения демона, который наделил тебя красотой; для тебя было бы лучше, если она была бы меньше или умеренней. Ты слепа, Магдалина, <...> глядясь то и дело в зеркало, чтобы ублажать мужчин и огорчать Господа <...>. Ведь вот-вот грядет старость, которая сделает то, что губы твои утратят розовость. Но если ты обратишься, если ты изменишься, если ты поймешь, то пришедший Мессия возвысит твою красоту до красы ангельской», и т. д.

Марфа смущила душу грешницы. Та стала как-то задумываться и поглядывать на небеса. Так начинает разворачиваться еще одна выпадающая из благочестивого текста и довольно игривая новелла, заставляющая читателя на мгновение ощутить, что автор «Человечности Христа» как-никак имел уже опыт сочинения эротических «Шести дней».

Прежде чем наутро идти в храм, где уже был слышен голос Христа, накануне вечером Магдалина, целиком еще поглощенная своей великой красотой, устроила напоследок весьма пышное пиршество. «E fu l'ultima cena, che le facesse fare il peccato de la superba lascivia (И то была последняя вечеря, которая ее ввела в соблазн высочайшей похоти)». Марфа, будучи не в силах смотреть даже на богато разукрашенные пурпурным шелком стены, поспешила уйти в самые отдаленные покои и ела там вместе с людьми низкого положения.

Аретино со знанием дела рассказывает, как десяток служанок разожгли огни и воскурили благовония, а другие подавали яства, и как юноши разливали вина и подносили Магдалине. И та наслаждалась едой и вином, «ибо была не в состоянии вот так сразу оторваться от своих изнеженных обыкновений». Утром же Марфа опять принялась за укоризненные речи, а ее сестра позвала горничных, которые всегда одевали и раздевали ее. И не в силах отказатьсь от своих распутных обыкновений, Магдалина велела им раздеть ее и, к негодованию Марфы, «будучи не в силах обуздать

сладострастные ухватки, дозволила увидеть себя совсем нагой» (р. 118–119).

Затем три прислужницы принесли рубаху из тонкого полотна, разукрашенную золотым шитьем и жемчугом, и пр. Аretino со вкусом описывает изысканный и соблазнительный наряд вот так готовившейся к встрече с Христом, но пока неисправимой Магдалины. «И она возложила на грудь ожерелье, с той сладострастной искусностью, которой движими действия грешниц». Одеваясь и украшая себя, она вела нежные речи, которые были способны расколоть алмазную твердь разума. И тем временем «строила глазки в свойственной ей особой манере, так что те, кто попадал под воздействие этих взглядов, сами не замечали, как становились рабами их грации. Была большая приятность в ее шутках. И когда она замолкала, то и это было весьма приятным знаком», и т. д. Еще странница уходит на дальнейшее описание прелести облика, одежд и завлекающих повадок Магдалины, ее походки, ее волнующего благоухания, и вот так она, «пританцовывая», направлялась в Храм, откуда уже слышался потрясающий колонны и хоры голос Христа. Однако большая толпа все еще сбегалась поглядеть на превеликую красу этой неотразимой блудницы. «Потому что, – основательно замечает Пьетро, – вид сластолюбия более веселит, чем вид воздержания».

После пространных укоров и наставлений Иисуса, выдержаных в том же характерном стиле Аretino, который я назвал бы риторикой для бедных, Магдалина была потрясена. Она покраснела, она горько плакала, она в полном смятении натолкнулась на колонну, думая, что направляется к выходу, «подобно человеку, который встает с постели сонный». Короче, затем Магдалина, запершись в своей комнате, срывает украшения, падает на колени и предается горчайшему раскаянию. Она молится Господу и принимается отчаянно, исступленно бичевать это свое во всем виноватое, алкавшее радостей, грешившее тело, «отвратившее ее от Господа». Она обращается к своему телу, унижая его и словесно. Аretino сие чувственное самоистязание, сделавшее неузнаваемыми грудь, и спину, и живот Магдалины, «брзги крови на слишком нежном теле», «черные следы на белом полотне от ударов бича», «превращение в конце концов белого и черного в алое» и пр., описывает с увлечением и со столь же красноречивыми конкретными подробностями. Прибежавшая Марфа радуется, но и ужасается,

умоляя сестру прекратить «бесчеловечное покаяние», чтобы не лишить себя жизни, ведь есть другие, благие пути служения Господу. И опять автор раскатывает соответствующие общие места очередного монолога Марфы на страницу. Историк, склонный следовать психоаналитическим приемам толкования, очевидно, усмотрел бы в покаянии блудницы сцены мазохизма...

Очень подробна история воскрешения Лазаря, и опять в сочинении появляется Магдалина, чья великая краса поблекла после пережитого. Автор замечает, что не знал бы, чему уподобить теперь ее облик, если бы не воспоминание о статуе Венеры, изваянной Фидием, «члены которой настолько повредило время, что требуется воображение, дабы представить ее сотворенной знаменитейшей рукой» (р. 142).

8

Остается, теперь уже действительно сжато, отметить некоторые показательные черты дальнейшей и решающей части повествования. С Книги Третьей начинается история Тайной вечери и Страстей Господних (это и есть разделы, написанные ранее прочих, уже в 1534 году). Любопытно, что встречу Христа с Девой Марией, кратко и сурово упомянутую в Новом Завете, Аretino превращает в трогательную новеллу, заняв четыре страницы ласковыми и печальными речами Сына и Матери. (Ниже эта фабульная линия еще чрезвычайно разрастется.) Затем на трапезе у Симона вновь появляется «сестра Марфы», превращенная нашим женолюбом в одного из главных персонажей жития Христа. Автор детально описывает ее поблекший облик – «как сад лилий, побитый градом» – и ее «юбку, которая так ревниво охраняла теперь ее плоть, что не позволяла показать хотя бы малую часть тех сладострастных прелестей, которые ранее она так стремилась обнаружить». Магдалина занята омовением ног Христа и обращается к нему с новой проникновенной репликой (р. 155–156). И это отнюдь не последнее ее появление на сцене.

Затем тут же, по контрасту, на сцену выводится готовый к предательству Иуда Искариот, всячески обвиваемый змеей, проникшей под его одежду. Он деловито договаривается с фарисеями о предательстве и наставляет толпу. Следует рассказ о пасхальной вечере, знаменитые слова Христа, и ответное волнение, и вопро-

шание каждого из одиннадцати апостолов («Не я ли это?»), а также – особо и живописно – поведение, жесты и слова Иуды. Все это близко к тексту Нового Завета и вместе с тем в очередной раз очень похоже на воспроизведение живописного сюжета. Об Иуде в дальнейшем тоже рассказано очень обстоятельно, сначала как об уверенном предводителе толпы, направившейся схватить Христа, с обращенными к этой толпе речами (р. 170), притом занятно, что Аретино приплетает к предательству Иуды выпад... против Лютера (р. 162). А затем, не менее подробно, с монологом на страницу, о раскаянии Иуды и попытке вернуть тридцать сребренников. Вместо нескольких евангельских стихов на эту тему (ср. Мф 27: 3–5) Аретино разворачивает особую риторически психологизированную фабульную линию (р. 185–187).

Другая еще более обстоятельная и любопытная линия связана с Пилатом. Аретино, хотя и внимательно черпая из Нового Завета, всячески усиливает благожелательность усилий и душевные терзания римского прокуратора (см., например, р. 181). «Поистине Пилат был между священным и каменным, его мучило сознание, что он будет вынужден вынести приговор Иисусу, и он употреблял всяческое искусство, чтобы освободить его» (р. 189) (курсив мой. – Л.Б.). Пилат более всего поражен тем, что «Христос то приближается к божественности, то к человечности, и становится то Богом, то человеком» (р. 179). Такова, конечно, искренняя и незатейливая «христология» самого Пьетро. Догматическая и таинственная идея неразрывности и неслияности в Богочеловеке обоих начал, противостоявшая и арианству, и монофизитству, далека от сочинителя-простолюдина. Назвать Аретино своего рода инстинктивным арианином было бы умозрительной натяжкой. Посему Иисус у него словно бы попеременно – и это красная нить всего текста – то Бог, то человек, *«or Dio, oga uomo»*. К первому относится сказочно-религиозная окраска повести; ко второму – преобладающий в ней и подчеркнутый названием интерес, решимся сказать, приключенческий и романический. Христос оказывается необыкновенным героем истории, разворачивающейся на земле с участием Небес.

Аретино за три века до Ренана и за четыре века до Булгакова (при всей заведомой некорректности этого условного сопоставления) понимает двусмысленность и трудность положения, в котором оказался римский правитель Иудеи. Пилат захвачен личным

сильным впечатлением от странного узника фарисеев, загадочного как в речах, так и особенно в молчании, в величавости и в безразличии к предназначеному исходу своей земной судьбы, — и угнетен необходимостью считаться с иудеями и их жрецами, дабы быть лояльным к римскому Кесарю. Так Аретино уточняет психологические и особенно политические мотивировки, объясняющие, почему «доброта Понтия была сломлена вероломством Иудеев» (р. 178–179 ed altri). Заодно, толкуя о жесткости правившего в то время императора, автор поминает Нерона и Калигулу (р. 176).

Кстати говоря, характерно, что мотив вины иудеев, притом павшей навеки и на грядущие поколения, звучит у Аретино чаще и резче, чем в Завете (р. 181: «Oh crudeltade ebrea <...> la pena de la tua colpa cadesse sopra di quelli che non che avessero peccato, non erano ancor nati», etc. Cp. Мф 27: 25).

Единственный стих с упоминанием жены Пилата (Мф 27: 19) превращается в насыщенную вставку. Но если, по Евангелисту, жена только послала сказать Пилату: «Не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него», то Аретино смело сочиняет по этому случаю целую историю. Ухватившись за упоминание о каком-то страшном сне Проклы, писатель рассказывает, что во сне явился к ней демон, принявший облик некоего лица, с опущенной головой, увлажненными глазами, тишайшими и смиренными речами, и т. д. Сатана весьма тонко рассчитывал, что, как и в случае раскаяния Иуды, зло и добро поменяются местами, и наоборот, так что благие слова Проклы лишь ухудшат дело. Посему он, т. е. тот благовидный человек, под видом коего он предстал, велит во сне Прокле встать и направиться к супругу, дабы предупредить его, что, ежели тот не откажется от приговора «совершеннейшему человеку», земля развернется у Пилата под ногами. «И горе тебе тоже!» (р. 180, etc). Потрясенная видением Прокла встает с постели и лихорадочно поспешает туда, где был Понтий, и «обращается к нему с теми словами, которыми жены проникают в сердца мужей, и поведала ему то, что ей велел поведать демон». После чего как раз Пилат и предлагает помиловать, согласно еврейскому обычью, именно Христа, а толпа орет в ответ «Пусть умрет Иисус и будет помилован Варавва». Так Аретино вплетает в евангельский сюжет прямое вмешательство демона и политико-психологические изощренности, заодно сгущая занимательную мелодраматичность.

Что же до одинокого горестного моления Иисуса в саду Гефсиманском, то Аретино придумывает собственную более пространную версию обращения Христа к Отцу – помимо краткой трагической фразы. И вводит в этот сюжетный момент видение Иисусом «Рая и гармонии его сфер» (р. 166 ed altri). Бог-Отец, вообще все время переживающий происходящее, соответствует Сыну. Аретино забирается в своих сочинительских выдумках так далеко, что впервые вдруг чувствует потребность предупредить читателей: Христос «не произнес слов, которые я говорю, но я воображаю, что он должен был бы сказать...». Далее следуют измышленные автором новые обращения Иисуса к Богу-Отцу и Небу (р. 166–167).

Необходимо признать, что в заключительных разделах «Человечности Христа» Аретино достигает наибольшей связности и свободы, а также воодушевления. Писатель умело сплетает разные линии и эпизоды. Крестный ход изображен по-настоящему красочно и, пожалуй, впервые в духе живописной варьета (р. 172–173). Выразительно и сказочно-устрашающе описаны двое разбойников, распятых одесную и ошую Христа (р. 183–184). Опять подтверждается, что Аретино всякий раз считает необходимым *описать в малейших подробностях внешность и одежду персонажей*. Это касается карикатурно-чудовищного безобразия распятых разбойников, и того, который хулил Христа, и того, кто воззвал к нему с жалостью и молитвой (р. 183–184). Ариосто дает волю воображению касательно «всех изъянов, которыми может наделить природа», описывая лоб, глаза, брови, губы, подбородок...

Это тщательное разглядывание относится и к самому Иисусу на кресте, лицо и нагое тело которого Аретино дает читателю *увидеть воочию*, подчас в мельчайших деталях, очень крупным планом (р. 182–183). Каждый эпизод – что-то вроде программы для живописца.

Желая и напугать, и растрогать, и удивить читателя, Аретино замечает, что Христа «преступные люди принялись бичевать с такой свирепостью, будто дождь, излившийся на его плоть, отделил божественность от человечности, как огонь от воды или золото от серебра, так что человеческое оставалось все черным от ударов, а божественное, хотя и не оставалось беззащитным, но поддерживало человечность, искаженную муками. И зимние ветры, и летний град падают с неба так часто, как удары обрушивались на Христа, оскверняя его тело, столь далекое от всякой брутальности. И звуки

ударов, хлеставших по его спине, были такие громкие, что слышны были и в Раю». Донеслись они и до Бога-Отца, и тот с трудом сдерживал гнев по поводу наших грехов и наказал людей впоследствии войнами, чумой и голодом. Мучители были столь бессердечны, что даже «змеи из Ливии, африканские львы и гирканские тигры, оказись они там, расплакались бы» (р. 184–185). Таковы орнаментальные красоты в духе освоенного Аretino жанра. Не упускает автор и разъяснить в духе аллегорических топосов, что крест был сколочен из досок пальмы и кедра, ибо пальмой венчают победителя – того, кто «поверг смерть своей жизнью. А кедр, который сохранен навсегда, означает его вечную славу» (р. 189–190).

Затем в ход повествования о Голгофе вступает Дева Мария. Ариосто отводит трогательным ее страданиям и разговорам с измученным сыном или с теми, кого исцелили его чудеса, около четырнадцати страниц! (р. 194–203, 206–207, 213–215). «Увы, вот и Дева, увы, вот появляется и она, увы, в ее появлении меня так волнует волнующая ее скорбь, что память исчезает (*fugge*) из предмета рассказа (*materia*), предмет рассказа из дарования, дарование из стиля, и стиль из чернил, и чернила с пера, и перо с бумаги». Среди прочего любопытно, что Аretino умело закругляет повествование, возвращая Деву и читателя к началу, т. е. к Благовещению и непорочному зачатию. И Дева речет: «Поскольку это не подобает и не позволительно, я не хочу сказать, что Гавриил повинен в том, что я не в силах плакать, как должны плакать матери из-за страданий сыновей. Потому что, если он сказал бы, когда возвестил, что Иисус родится от меня, каким образом он должен будет умереть в моем присутствии, то, помышляя об его страстях, я бы научилась сдержать радость по поводу первого известия такой последующей расплатой» (р. 202). Но вот Христос возглашает (ср. с Иоанном, 19: 30): «Свершилось (*È consumato*)». Он испускает дух. Аretino комментирует последнее слово Христа в его земном существовании. Христос молвил его также для Девы, «потому что матери не рыдают и не смеются, когда рыдают и смеются их сыновья, но умирают с их смертью и живут их жизнью. *И я думаю, что он ей настолько же принес горя, умирая, насколько она наделила его, рождая, человечностью*» (р. 207) (курсив мой. – Л.Б.).

Это замечание еще раз напрямую вводит в повесть голос самого рассказчика, подчеркивает творческую волю сочинителя и подтверждает смысл названия.

Последняя, четвертая, книга рассказывает о том, что произошло после воскрешения Христа. Притом Аretino, не задумываясь, детально и последовательно описывает, как свершалось Вознесение (р. 243). Святой Дух, возложив на главу Христа диадему, ведет его и сопровождающий его торжественный кортеж через все сферы семи небес. В составе кортежа херувимы и серафимы, святые из Лимба, прародители Адам и Ева, а заодно и тот богообязненный распятый разбойник, которого Христос обещал «сегодня же» вознести в Рай. Оказывается, что праздничную повозку влекут пророки, возносящийся путь лежит через Луну, где обретается дар чистоты, Меркурий с даром красноречия, Венеру, дарующую красоту, Солнце, где обретается добросердечие, Марс с даром смелости, Юпитер с его благодатью и Сатурн, дарующий силу. «Все то, к чему приобщают нас звезды, это дар Божий».

Наконец, Христос восседает одесную Господа. И та часть Небес, что прилегает к Христу, навсегда остается ясной. Дуновения воздуха тут умеренные и здоровые. Огонь тут не обжигает. Земля зеленеет и там, где обычно не могла бы зеленеть. Моря и ветры пребывают в полном покое. Растения и животные пьют и вкушают амврозию. Ну, и так далее. О рыбах, о птицах, о пчелах, о змеях (разумеется, потерявших яд). О львах, ласковых и вовсе не гневных. О добродетельных и счастливых пастухах и нимфах.

«Горные вершины выглядели приятно, как обычные горы, а горы как холмы. И тот покой, и та радость, и та чудесность, которыми окутан мир ночью, когда рождается его Спаситель, ими же прекрасен и день, когда на Небо восходит вечный Император Богов и людей». Таковы заключительные фразы.

Этим незатруднительным набором избитых общих мест, этой картинкой, словно бы переносящей ввысь и вставляющей в небесную рамку золотой век, этой идиллической и беззаботной риторической нотой Аretino завершает свой рассказ о человечности, страстях и воскрешении Иисуса Христа.

Я решил (и предупредил об этом сразу же) представить крупнейший текст знаменитого венецианского писателя в характерных фабульных и стилистических образчиках.

Они сопровождались моими краткими аналитическими впечатлениями.

Эти впечатления, возможно, слишком очевидны и элементарны, но я не нашел ни малейшей возможности углубить их какими-либо логическими парадоксами и более изощренными аналитическими наблюдениями. Мне этого по привычке очень хотелось бы, но кажется, что герменевтическое глубокомыслie было бы в данном случае притянутым за уши. Аretино вполне набожен, но без мистического напряжения, и это как раз то, что нужно, чтобы написать о Христе доступно и завлекательно. Он набожен, но конформен, и откровенно стремится прежде всего к писательскому успеху. И, кажется, не столько взволнован своей гигантской темой, сколько наслаждается бесспорной сочинительской фабульной и психологической изобретательностью (по правде, поверхностной), своей банальной риторикой и свободой изложения. И уже одно это делает его опус ренессансным, с точки зрения, так сказать, непринужденной манеры творческого поведения. С другой стороны, тут, как и почти во всем, что сочинял Аretино, от ренессансного, в данном случае религиозного, порыва, поражающего прежде всего в пластических искусствах, а также в неоплатонических трактатах, порыва очеловеченного, высвобождающего и приподымающего дух, остается бледный, инерционный отпечаток. Так что счесть эту повесть продолжающей или преобразующей ренессансное мироощущение тоже не получается.

10

Перу Аretино принадлежат также два беллетризованных переложения житий святой девы Екатерины Александрийской и Фомы Аквината⁴.

В обоих случаях у него было немало предшественников, в том числе италоязычных. Почему Аretино остановился именно на этих персонажах? Трудно ответить уверенно. Очевидно, в первом случае материал показался Пьетро удобен для отсылок – вполне произвольных – к знаменитым художественным именам и для «пустой

⁴ Aretino Pietro. Le Vite dei Santi. Santa Caterina Vergine. San Tommaso d'Aquino. 1540–1543 / Testo con introduzione e commento di Flavia Santin. Roma, 1977. В содержательном «Введении» ученицы проф. Петрокки содержится изложение исходных легенд, библиография по теме и немало точных замечаний, на которые я охотно сошлюсь (указ. стр. в тексте).

патетической риторики». Во-втором случае могли сработать практические соображения: послетридентские официальные установки и сильное влияние томистов в самой Венеции.

Так или иначе, Пьетро, чей недолгий творческий подъем остался в 30-х годах, явно хотел сделать свой писательский статус более солидным и благонамеренным. Но обе «Жизни святых» определенно гораздо ниже уровня «Человечности Христа». Эти сочинения скучны и натянуты.

Житие Екатерины Александрийской было известно в следующих основных контурах (см.: Santin, p. 8, nota 6). По эдикту императора Массенция против христиан было велено населению Александрии собраться для вознесения жертв языческим божествам. Молодая и ученая Екатерина, дочь местного царя, воспротивилась этому во храме и была заточена в тюрьму. Там к ней явился и ободрил ее архангел Михаил. Пятьдесят мудрецов попытались оспорить доводы Екатерины, но она вышла победительницей в диспуте, обратив своих оппонентов в смущение.

Притом формула «*Aretino ascetico*», которой пользуется Флавия Сантин вслед за другими авторами (с неизбежной оговоркой, что образ жизни писателя ничуть не соответствовал морализаторству его поздних религиозных сочинений), мне представляется всего лишь формально-тематической и сугубо условной, а общий смысл статьи излишне академически сглаженным.

Массенций пробовал сломить деву соблазном власти над королевством, но Святая отвергла сие (ср. с сатанинскими искушениями Христа в пустыне). Император пригрозил ей казнью, велел высечь розгами и снова бросил в темницу. Екатерина, находясь там, крестила королеву, генерала Порфирия и многих других из императорской свиты. Префект Курситант решил колесовать Екатерину, но архангел Михаил освободил ее. Колесованными оказались четыре тысячи собравшихся посмотреть на ее муки. Тогда были обезглавлены королева и Порфирий. Была казнена, наконец, и Екатерина, предварительно вознесшая моление Господу и услышавшая его ответ. Ее тело засияло ангельским светом, а кровь ее потекла млеком. 25 ноября Иисус Христос повелел вознести ее тело на гору Синай.

Как обработал Аretino эту схему?

Любопытно на сей раз *посвящение* (Великому маркизу Дель Васто). Автор прежде всего просит принять его житие девы Екатерины в том виде, в каком он сумел его описать, хотя сам хотел

бы сделать нечто иное, более спиритуальное, чем была столь проникнута сама святая: «извините меня за то, что, будучи плотским существом, не могу излагать божественные концепции. Тому, кто желал бы, чтобы его интеллект вник в Божественные дела, сперва требуется наполнить его небесными доктринаами, дабы сделать способным их выражать, а затем очистить душу, удалив из нее всякое земное чувство, но это есть дар тем, кто говорит на языке Святого Духа, сие мне столь не свойственно, что я попытался написать об этом посредством хрупкого пера». Автор боится, что его сочинение будет отвергнуто из-за недостаточной возвышенности.

С другой стороны, ему отнюдь не хотелось ограничиться строгим и сжатым изложением чистой сути этой истории. «Я говорю это не для того, чтобы кто-либо подумал, будто мне кажется, что я знаю [обо всем этом] больше, чем другие, но ведь другие полагают, что смыслят больше меня. Кто мог бы проявить поразительную искусность божественного Буонаротти, чтобы нарисовать на малом пространстве весь апостолический консисторий, хотя ему и следовало бы одеть изображенного там Понтифика и восседающих Кардиналов в красное и темно-лиловое. Итак, мои писания всегда при изображении гнева, угроз, темниц, страхов, молений и смертей словно бы целиком проникнуты намерением, чтобы все служило вящей славе Божьей и соответствующее сочинение, которое само по себе скромно, было бы вовсе ничем без помощи того, что я внес в него по размышлению» (р. 25–26).

Итак, как же эти витиеватые преуведомления реализованы?

На первых 15 страницах (48 главок) автор рассказывает, как бесконечно любил свою не по годам умную и начитанную в святых книгах дочь ее престарелый отец-король Косто. Текут обращенные к дочери речи и наставления короля, неизбежные повторы. В изобилии сладковатая риторика, отсутствие действия и минимум какой бы то ни было конкретной информации. В 49–50 главках впервые упоминается император Массенций, пожелавший принести в Александрийском храме Минервы быков в жертву языческой богине. Аretino не упускает случая описать красочные одеяния и внешность ее служителей, а также жрецов Марса и жриц Венеры. Но готовившийся «спектакль» был сорван ропотом христиан и проповедью пятнадцатилетней Екатерины (гл. 53–56).

Далее Аretino по своему обыкновению отводит страницу (гл. 56–60) на описание душевной прелести и необычной телесной

привлекательности, а также одеяния юной девы. Конечно, никто, «ни одна душа и ни одно тело никогда не сравнялись бы с красотами и добродетелями, порожденными Богом и природой, которыми были наделены тело и душа матери Христа; но, если некоторые из тех дев, которыми славен мир, в чем-то приближались к ней, то Екатерина была такова, что в наибольшей степени выглядела возвышенной девушкой благородного нрава и элегантной грации. В ее облике отсвечивало подобие некого божества, которое можно лишь вообразить, но не высказать». Аretino восхваляет ее глаза, блестящие из-под ресниц и наделенные очаровательной значительностью, исполненные радости и простоты, ее алые щеки, с которыми, разумеется, не могли бы сравниться ни заря, ни розы, ее бесподобные движения, позы и стать, и т. д. Одежда ее была ангельски безупречна и притом так мало приоткрывала ее ноги, что чужой взгляд еле улавливал тот миг, когда они обозначались при ходьбе. А еще о покрывале на волосах. Короче, «можно было бы сказать, что она была сотворена природой и одарена звездами при восхищении небес и на удивление мирозданию».

После этого набора банальностей Екатерина, сразившая своим обликом часть языческих жрецов, обращается к упорствующим с грозным увещанием, призывая принять муку за Спасителя: «Вы боитесь Цезаря, а не Бога? Вы цените тело, а не душу?», и пр. Екатерину хватают по повелению императора, она обращается к нему с новым монологом, тот ей отвечает, она снова ему – Аretino более или менее превращает текст в подобие пьесы и испытывает надобность кое-что пояснить в оправдание риторических длиннот святой девы, терпеливо выслушиваемых Массенцием. «Конечно, это Божья воля влагала в уста Екатерины протяженность словес (*la lunghezza delle parole*), а в уши Цезаря терпение выслушивать их, так что благим воздействиям, которые должны были произвестися из промежутков между речениями одной и их выслушиванием другим, не препятствовала краткость времени» (гл. 79). Так автор оправдывает эти свои, по правде, нестерпимо скучные (особливо для современного читателя), водянистые и нескончаемые пассажи.

Я откажусь от дальнейшего пересказа и разбора этого мертвенно-сочинения. Аretino разогнал свое изложение до 170 страниц, где все идет в том же духе: фабульная схема разбухает за счет обмена благочестивым пустословием между Екатериной и римским цезарем, и местным королем Косто, отцом Девы, и самим Господом.

Занятно, но малообъяснимо, зачем Аретино вздумалось сочинять также житие Фомы Аквината (р. 177–311). У него было достаточно доминиканских предшественников, откуда можно было черпать материал. Подготовившая издание Флавиа Сантин, вслед за своим учителем проф. Петрокки относящаяся к Аретино с академическим питететом, все же сдержанно констатирует его «скучную историческую подготовку», равно и «недостаточную методологическую осведомленность», чтобы судить о богословских темах (р. 9–10). Можно было бы выразиться и сильней о нашем авторе, в конце литературного пути (1540–1543) принимающего с «торжественной монотонностью»⁵ вид святоши.

Однако Ф. Сантин полагает, что интеллектуальная беспомощность Аретино возмещается тем, что он переводит религиозную тематику в литературный план. Но ей приходится отметить, притом в сих «интересных документах прозаической формы», преобладание выдумок, вычурной и сухой риторики, «беспорядочности фактов и фигур», стилизованности и «нарцисстических монологов».

Издательница ссылается на французского исследователя Ляривойя, усматривавшего в «аскетическом Аретино» (которого одобряла, между прочим, Виттория Колонна) проявление «маньеризма» (понимаемого, впрочем, очень широко). Но не думаю, что эти последние опусы выдыхающегося Аретино могут быть в стилистическом ключе сочтены маньеристическими (а не просто манерными). Что до вопроса «почему вдруг об Аквинате», то единственный возможный ответ дает Петрокки (оп. cit. Р. 267–268). Пьетро желал понравиться контреформационной римской курии. Так что цели писателя были «практические». И, очевидно, во вкусе публики, проникшейся духом Тридентского собора. Действительно, занятен контраст с неклассическим и «спонтанным» вольным стилем более раннего Аретино.

Итальянское Возрождение так или иначе отсвечивало, пусть и в обедненном или огрубленном виде, в лучших писаниях нашего одаренного героя, который воистину «сделал себя сам». В том числе и в «Человечности Христа».

И вот оно наглядно обескровлено и изыхает в его заключительных агиографических опытах.

⁵ Hosle I. Pietro Aretinos Werk. Berlin, 1969. P. 134.

Научное издание

Леонид Михайлович Баткин
Пьетро Аретино как религиозный писатель

Редактор серии Е.П.Шумилова
Верстка О.Б.Малаховой

Оригинал-макет подготовлен
в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ

ЛР № 05992, выд. 05.10.01.
Подписано в печать 5.09.2005
Формат 60x84/16
Уч.-изд. л. 2,0
Тираж 500 экз.
Заказ 168

Издательский центр РГГУ
125267, Москва, Миусская пл., 6
тел. 973-4200